

# Над кукушкиным гнездом

**Автор:**

[Кен Кизи](#)

Над кукушкиным гнездом

Кен Элтон Кизи

Подобно многочисленным громким событиям, связанным с именем «веселого проказника» Кена Кизи, выход в 1962 году его первой книги «Над кукушкиным гнездом» произвел много шума в литературной жизни Америки. После ее появления Кизи был признан талантливейшим писателем, а сам роман стал одним из главных произведений движений битников и хиппи. «Над кукушкиным гнездом» – это грубое и опустошительно честное изображение границ между здравомыслием и безумием. «Если кто-нибудь захочет ощутить пульс нашего времени, пусть лучше читает Кизи. И если все будет хорошо и не изменится порядок вещей, его будут читать и в следующем веке», – писали в «Лос-Анджелес Таймс». Действительно, книга продолжает жить и не утратила прежней сумасшедшей популярности в наши дни.

По мотивам романа был снят одноименный фильм Милошем Форманом, покоровший весь мир и получивший пять Оскаров, а также поставлено множество спектаклей в разных странах, в том числе в России.

Кен Кизи

Над кукушкиным гнездом

Вику Ловеллу,

который сказал мне,

что драконов не бывает,

а потом привел в их логово.

...Кто из дому, кто в дом, кто над кукушкиным гнездом.

## Считалка

### Часть I

Они там.

Черные в белых костюмах, встали раньше меня, справят половую нужду в коридоре и подотрут, пока я их не накрыл.

Подтирают, когда я выхожу из спальни: трое, угрюмы, злы на все – на утро, на этот дом, на тех, при ком работают. Когда злы, на глаза им не попадайся. Пробираюсь по стеночке в парусиновых туфлях, тихо, как мышь, но их специальная аппаратура засекает мой страх: поднимают головы, все трое разом, глаза горят на черных лицах, как лампы в старом приемнике.

– Вон он, вождь. Главный вождь, ребята. Вождь Швабра. Поди-ка, вождек.

Суют мне тряпку, показывают, где сегодня мыть, и я иду. Один огрел меня сзади по ногам щеткой: шевелись.

– Вишь, забегал. Такой длинный, яблоко у меня с головы зубами может взять, а слушается, как ребенок.

Смеются, потом слышу, шепчутся у меня за спиной, головы составили. Гудят черные машины, гудят ненавистью, смертью, другими больничными секретами. Когда я рядом, все равно не побеспокоятся говорить потише о своих злых секретах – думают, я глухонемой. И все так думают. Хоть тут хватило хитрости их обмануть. Если чем помогала мне в этой грязной жизни половина индейской

крови, то помогала быть хитрым, все годы помогала.

Мою пол перед дверью отделения, снаружи вставляют ключ, и я понимаю, что это старшая сестра: мягко, быстро, послушно поддается ключу замок; давно она орудует этими ключами. С волной холодного воздуха она проскальзывает в коридор, запирает за собой, и я вижу, как проезжают напоследок ее пальцы по шлифованной стали – ногти того же цвета, что губы. Оранжевые прямо. Как жало паяльника. Горячий цвет или холодный, даже не поймешь, когда они тебя трогают.

У нее плетеная сумка вроде тех, какими торгует у горячего августовского шоссе племя ампкава, – формой похожа на ящик для инструментов, с пеньковой ручкой. Сколько лет я здесь, столько у нее эта сумка. Плетение редкое, я вижу, что внутри: ни помады, ни пудреницы, никакого женского барахла, только колесики, шестерни, зубчатки, отполированные до блеска, крохотные пилули белеют, будто фарфоровые, иголки, пинцеты, часовые щипчики, мотки медной проволоки.

Проходит мимо меня, кивает. Я утаскиваю следом за шваброй к стене, улыбаюсь и, чтобы понадежней обмануть ее аппаратуру, прячу глаза – когда глаза закрыты, в тебе труднее разобраться.

В потемках она идет мимо меня, слышу, как стучат ее резиновые каблуки по плитке и брякает в сумке добро при каждом шаге. Шагает деревянно. Когда открываю глаза, она уже в глубине коридора заворачивает в стеклянный сестринский пост – просидит там весь день за столом, восемь часов будет глядеть через окно и записывать, что творится в дневной палате. Лицо у нее спокойное и довольное перед этим делом.

И вдруг... Она заметила черных санитаров. Они все еще рядышком, шепчутся. Не слышали, как она вошла в отделение. Теперь почувствовали ее злой взгляд, но поздно. Хватило ума собраться и лясы точить перед самым ее приходом. Их лица отскакивают в разные стороны, смущенные. Она, пригнувшись, двинула на них – они попались в конце коридора. Она знает, про что они толковали, и, видно, себя не помнит от ярости. В клочья разорвет черных паразитов, до того разъярилась. Она раздувается, раздувается – белая форма вот-вот лопнет на спине – и выдвигает руки так, что может обхватить всю троицу раз пять-шесть. Оглядывается, крутанув громадной головой. Никого не видеть, только вечный Швабра Бромден, индеец-полукровка, прячется за своей шваброй и не может

позвать на помощь, потому что немой. И она дает себе волю: покрашенная улыбка искривилась, превратилась в оскал, а сама она раздувается все больше, больше, она уже размером с трактор, такая большая, что слышу запах механизмов у нее внутри – вроде того, как пахнет мотор при перегрузке. Затаив дыхание, думаю: ну все, на этот раз они не остановятся. На этот раз они нагонят ненависть до такого напряжения, что опомниться не успеют – разорвут друг друга в клочья!

Но только она начала сгребать этими раздвижными руками черных санитаров, а они потрошить ей брюхо ручками швабр, как из спален выходят больные посмотреть, что там за базар, и она принимает прежний вид, чтобы не увидели ее в натуральном жутком обличье. Пока больные протерли глаза, пока кое-как разглядели спросонок, из-за чего шум, перед ними опять всего лишь старшая сестра, как всегда спокойная, сдержанная, и с улыбкой говорит санитарам, что не стоит собираться кучкой и болтать, ведь сегодня понедельник, первое утро рабочей недели, столько дел...

– ...понимаете, понедельник, утро...

– Да, мисс Гнусен...

– ...а у нас столько назначений на это утро... так что если у вас нет особой надобности стоять здесь вместе и беседовать...

– Да, мисс Гнусен...

Замолкла, кивнула больным, которые собрались вокруг и смотрят красными, опухшими со сна глазами. Кивнула каждому в отдельности. Четким, автоматическим движением. Лицо у нее гладкое, выверенное, точной выработки, как у дорогой куклы, – кожа будто эмаль телесного цвета, бело-кремовая, ясные голубые глаза, короткий носик с маленькими розовыми ноздрями, все в лад, кроме цвета губ и ногтей да еще размера груди. Где-то ошиблись при сборке, поставили такие большие женские груди на совершенное во всем остальном устройство, и видно, как она этим огорчена.

Больные еще стоят, хотят узнать, из-за чего она напала на санитаров; тогда она вспоминает, что видела меня, и говорит:

– Поскольку сегодня понедельник, давайте-ка для разгона раньше всего побреем бедного мистера Бромдена и тем, может быть, избежим обычных... э-э... беспорядков – ведь после завтрака в комнате для бритья у нас будет столпотворение.

Пока они оборачиваются ко мне, я ныряю обратно в чулан для тряпок, захлопываю дочерна дверь, перестаю дышать. Хуже нет, когда тебя бреют до завтрака. Если успел пожевать, ты не такой слабый и не такой сонный, и этим гадам, которые работают в Комбинате, сложно подобраться к тебе с какой-нибудь из своих машинок. Но если до завтрака бреют – а она такое устраивала, – в половине седьмого, в комнате с белыми стенами и белыми раковинами, с длинными люминесцентными трубками в потолке, чтобы теней не было, и лица всюду вокруг тебя кричат, запертые за зеркалами, – что ты тогда можешь против ихней машинки?

Схоронился в чулане для тряпок, слушаю, сердце стучит в темноте, и стараюсь не испугаться, стараюсь отогнать мысли подальше отсюда, подумать и вспомнить что-нибудь про наш поселок и большую реку Колумбию, вспоминаю, как в тот раз, ох, мы с папой охотились на птиц в кедровнике под Даллзом... Но всякий раз, когда стараюсь загнать мысли в прошлое, укрыться там, близкий страх все равно просачивается сквозь воспоминания. Чувствую, что идет по коридору маленький черный санитар, принюхиваясь к моему страху. Он раздувает ноздри черными воронками, вертит большой башкой туда и сюда, нюхает, втягивает страх со всего отделения. Почуял меня, слышу его сопение. Не знает, где я спрятался, но чует, нюхом ищет. Замираю...

(Папа говорит мне: замри; говорит, что собака почуяла птицу, где-то рядом. Мы одолжили пойнера у одного человека в Даллз-Сити. Наши поселковые псы – бесполезные дворняги, говорит папа, рыблю требуху едят, низкий класс; а у этой собаки – у ней инстинкт! Я ничего не говорю, но уже вижу в кедровом подросте птицу – съежилась серым комком перьев. Собака бегаёт внизу кругами – запах повсюду, не понять уже откуда. Птица замерла, и покуда так, ей ничего не грозит. Она держится стойко, но собака кружит и нюхает, все громче и ближе. И вот птица поднялась, расправив перья, и вылетает из кедра прямо на папину дробь.)

Не успел я отбежать и на десять шагов, как маленький санитар и один из больших ловят меня и волокут в комнату для бритья. Я не шумлю, не сопротивляюсь. Закричишь – тебе же хуже. Сдерживаю крик. Сдерживаю, пока

они не добираются до висков. До сих пор я не знал, может, это и вправду бритва, а не какая-нибудь из их подменных машинок, но, когда они добрались до висков, уже не могу сдержаться. Какая тут воля, когда добрались до висков. Тут... кнопку нажали: воздушная тревога! Воздушная тревога! – и включает она меня на такую громкость, что звука уже будто нет, все орут на меня из-за стеклянной стены, заткнув уши, лица в говорильной круговерти, но изо ртов ни звука. Мой шум впитывает все шумы. Опять включают туманную машину, и она снежит на меня холодным и белым, как снятое молоко, так густо, что мог бы в нем спрятаться, если бы меня не держали. В тумане не вижу на десять сантиметров и сквозь вой слышу только старшую сестру, как она с гиканьем ломит по коридору, сшибая с дороги больных плетеной сумкой. Слышу ее поступь, но крик оборвать не могу. Кричу, пока она не подошла. Двое держат меня, а она вбила мне в рот плетеную сумку со всем добром и пропихивает глубже ручкой швабры.

(Гончая лает в тумане, она заблудилась и мечется в испуге, оттого что не видит. На земле никаких следов, кроме ее собственных, она водит красным резиновым носом, но запахов тоже никаких, пахнет только ее страхом, который ошпаривает ей нутро, как пар.) И меня ошпарит так же, и я расскажу наконец обо всем – о больнице, о ней, о здешних людях... И о Макмерфи. Я так давно молчу, что меня прорвет, как плотину в паводок, и вы подумаете, что человек, рассказывающий такое, несет ахинею, подумаете, что такой жути в жизни не случается, такие ужасы не могут быть правдой. Но прошу вас. Мне еще трудно собраться с мыслями, когда я об этом думаю. Но все – правда, даже если этого не случилось.

Когда туман расходится и я начинаю видеть, я сижу в дневной комнате. На этот раз меня не отвели в Шоковый шалман. Помню, как меня вытащили из брильни и заперли в изолятор. Не помню, дали завтрак или нет. Наверно, нет. Могу припомнить такие утра в изоляторе, когда санитары таскали объедки завтрака – будто бы для меня, а ели сами – они завтракают, а я лежу на сопревшем матрасе и смотрю, как подтирают яйцо на тарелке поджаренным хлебом. Пахнет салом, хрустит у них в зубах хлеб. А другой раз принесут холодную кашу и заставляют есть, без соли даже.

Нынешнего утра совсем не помню. Насовали в меня столько этих штук, которые они называют таблетками, что ничего не соображал, пока не услышал, как открылась дверь в отделение. Дверь открылась – значит, время восемь или девятый, значит, провалялся без памяти в изоляторе часа полтора, техники могли прийти и установить что угодно по приказу старшей сестры, и я даже не

узнаю что!

Слышу шум у входной двери, в начале коридора, отсюда не видно. Эту дверь начинают открывать в восемь, открывают-закрывают по сто раз на дню, тыт-тыр, щелк. Каждое утро после завтрака мы рассаживаемся вдоль двух стен в дневной комнате, складываем картинки-головоломки, слушаем, не щелкнет ли замок, ждем, что там появится. Больше-то и делать особенно нечего. Иногда один из молодых врачей, живущих при больнице, приходит пораньше посмотреть на нас до приема лекарств – ДПЛ у них называется. Иногда жена кого-нибудь навещает, на высоких каблуках, сумочку притиснув к животу. Иногда этот дурачок по связям с общественностью приводит учительниц начальной школы; он всегда прихлопывает потными ладошками и говорит, как ему радостно оттого, что лечебницы для душевнобольных покончили со старорежимной жестокостью: «Какая душевная обстановка, согласитесь!» Учительницы сбились в кучку для безопасности, а он вьется вокруг, прихлопывает ладошками: «Нет, когда я вспоминаю прежние времена, грязь, плохое питание и, что греха таить, жестокое обращение, я понимаю, дамы: мы добились больших сдвигов!» Кто бы ни вошел в дверь, это всегда не тот, кого хотелось бы видеть, но надежда всегда остается, и, только щелкнет замок, все головы поднимаются разом, как на веревочках.

Сегодня замки гремят чудно, это не обычный посетитель. Голос сопровождающего, раздраженный и нетерпеливый: «Новый больной, идите распишитесь». И черные подходят.

Новенький. Все перестают играть в карты и «монополию», поворачиваются к двери в коридор. В другой день я бы сейчас мел коридор и увидел, кого принимают, но сегодня, я вам объяснял уже, старшая сестра насовала в меня сто килограммов, и я не в силах оторваться от стула. В другой день я бы первым увидел новенького, посмотрел бы, как он просовывается в дверь, пробирается по стеночке, испуганно стоит, пока санитары не оформят прием; потом они поведут его в душевую, разденут, оставят, дрожащего, перед открытой дверью, а сами с ухмылкой забегают по коридорам, разыскивая вазелин. «Нам нужен вазелин, – скажут они старшей сестре, – для термометра». А она то на одного глянет, то на другого: «Не сомневаюсь, что нужен, – и протянет им банку чуть ли не в полведра, – только смотрите не собирайтесь там все вместе». Потом я вижу в душе двоих, а то и всех троих, вместе с новеньким, они намазывают термометр слоем чуть ли не в палец толщиной, припевая: «О так от, мама, о так от», – потом захлопывают дверь и включают все души, чтоб ничего не было слышно,

кроме злого шипения воды, бьющей в зеленые плитки. Чаще всего я в коридоре и все вижу.

Но сегодня сижу на стуле и только слышу, как его приводят. И хотя ничего не видеть, чувствую, что это не обычный новенький. Не слышу, чтобы он испуганно пробирался по стеночке, а когда ему говорят о душе, не подчиняется с робким, тихим «да», а сразу отвечает зычным смелым голосом, что он и так довольно чистый, спасибо, черт возьми.

- С утра меня помыли в суде и в тюрьме вчера вечером. И в такси сюда промыли бы до дыр, ей-богу, если бы душ там нашли. Эх, ребята, как меня куда-нибудь переправлять, так драят и до, и после, и во время доставки. До того дошел, что услышу воду – сразу бросаюсь собирать вещички. Да отвали со своим градусником, Сэм, дай хоть оглядеться в новой квартире. Сроду не был в институте психологии.

Больные озадаченно смотрят друг на друга и опять на дверь, откуда доносится голос. А говорит зачем так громко – ведь черные ребята рядом? Голос такой, как будто он над ними и говорит вниз, как будто парит метрах в двадцати над землей и кричит тем, кто внизу. Сильно говорит. Слышу, как идет по коридору, и идет сильно, вот уж не пробирается; у него железо на каблуках и стучит по полу, как конские подковы. Появляется в дверях, останавливается, засовывает большие пальцы в карманы, ноги расставил и стоит, и больные смотрят на него.

- С добрым утром, ребята.

Над его головой висит на бечевке бумажная летучая мышь – со Дня всех святых; он поднимает руку и щелчком закручивает ее.

- До чего приятный осенний денек.

Разговором он напоминает папу, голос громкий и озорной; но сам на папу не похож: папа был чистокровный колумбийский индеец, вождь – твердый и гляцевый, как ружейный приклад. А этот рыжий, с длинными рыжими баками и всклокоченными, давно не стриженными кудрями, выбивающимися из-под шапки, и весь он такой же широкий, как папа был высокий: челюсть широкая, и плечи, и грудь, и широкая зубастая улыбка, – и твердость в нем другая, чем у



папы, – твердость бейсбольного мяча под обшарпанной кожей. Поперек носа и через скулу у него рубец – кто-то хорошо ему заделал в драке, – и швы еще не сняты. Он стоит и ждет, но никто даже не подумал ему отвечать, и тогда он начинает смеяться. Всем невдомек, почему он смеется: ничего смешного не произошло. А смеется не так, как этот, по связям с общественностью, – громко, свободно смеется, весело оскалась, и смех расходится кругами, шире, шире, по всему отделению, плещет в стены. Не ватный смех по связям с общественностью. Я вдруг сообразил, что слышу смех первый раз за много лет.

Он стоит, смотрит на нас, откачиваясь на пятки, и смеется, заливаясь. Большие пальцы у него в карманах, а остальные он оттопырил на животе. Я вижу, что руки у него большие и побывали во многих переделках. И больные и персонал – все в отделении ошарашены его видом, его смехом. Никто и не подумал остановить его или что-нибудь сказать. Насмеявшись вдоволь, он входит в дневную комнату. Теперь он не смеется, но смех еще дрожит вокруг него, как звук продолжает дрожать в только что отзвонившем большом колоколе, – он в глазах, в улыбке, в дерзкой походке, в голосе.

– Меня зовут Макмерфи, ребята, Р. П. Макмерфи, и я слаб до картишек. – Он подмигивает, запекает: —...И стоит мне колоду увидеть, я денежки на стол мечу... – И опять смеется.

Потом подходит к какой-то компании картежников, толстым грубым пальцем трогает карты у одного острого, смотрит в них, прищурясь, и качает головой.

– Ага, за этим я и прибыл в ваше заведение – развлечь и повеселить вас, чудаки, за картежным столом. На пендлтонской исправительной ферме уже некому было скрасить мне дни, и я потребовал перевода, понятно? Хо-хо, ты смотри, как этот гусь держит карты – всему бараку видно. Я обстригу вас, ребята, как овечек.

Чесвик сдвигает свои карты. Рыжий подает ему руку.

– Здорово, друг, во что играем? В «тысячу»? То-то ты не очень стараешься прятать карты. У вас тут не найдется нормальной колоды? Тогда поехали – я свою захватил на всякий случай, в ней не простые картинки... Да вы их проверьте, а? Все разные. Пятьдесят две позиции.

У Чесвика и так вытаращены глаза, и от того, что он сейчас увидел, лучше с ним не стало.

– Полегче, не мусоль; у нас полно времени, наиграемся вдоволь. Я почему люблю играть своей колодой – не меньше недели проходит, пока другие игроки хотя бы масть разглядают.

На нем лагерные брюки и рубаша, выгоревшие до цвета снятого молока. Лицо, шея и руки у него темно-малиновые от долгой работы в поле. В волосах запуталась мотоциклетная шапочка, похожая на черный капсюль, через руку переброшена кожаная куртка, на ногах башмаки, серые, пыльные и такие тяжелые, что одним пинком можно переломить человека пополам. Он отходит от Чесвика, сдергивает шапочку и выбивает ею из бедра целую пыльную бурю. Один санитар вьется вокруг него с термометром, но его не поймаешь: только негр нацелился, как он влезает в кучу острых и начинает всем по очереди пожимать руки. Разговор его, подмигивание, громкий голос, важная походка – все это напоминает мне автомобильного продавца, или скотного аукционщика, или такого ярмарочного торговца – товар у него, может, и не главный и стоит он сбоку, но позади него развеваются флаги, и рубашка на нем полосатая, и пуговицы желтые, и все лица поворачиваются к нему, как намагниченные.

– Понимаете, какая история: вышло у меня, по правде сказать, на исправительной ферме несколько теплых разговоров, и суд постановил, что я психопат. Что же я – с судом буду спорить? Да боже упаси. Хоть психопатом назови, хоть бешеной собакой, хоть вурдалаком, только убери меня с гороховых полей, потому что я согласен не обниматься с их мотыгой до самой смерти. Вот говорят мне: психопат – это кто слишком много дерется и слишком много... кхе... Тут они не правы, как считаете? Где это слыхано, чтобы у человека случился перебор по части баб? Здорово, а тебя как кличут? Я – Макмерфи и спорю на два доллара, что не знаешь, сколько очков у тебя сейчас на руках, – не смотри! Два доллара, ну? Черт возьми, Сэм! Можешь ты хоть полминуты не тыкать своим дурацким градусником?

С минуту новенький оглядывал дневную комнату.

С одной стороны больные помоложе – они называются острыми, потому что доктора считают их еще достаточно больными, чтобы лечить, – заняты ручной

борьбой и карточными фокусами, где надо столько-то прибавить, столько-то отнять и отсчитать, и получается правильная карта. Билли Биббит пробует свернуть самокрутку, Мартини расхаживает и находит вещи под столами и стульями. Острые много двигаются. Они шутят между собой, прыскают в кулак (никто не смеет засмеяться в полный голос – вся медицина сбежится с блокнотами и кучей вопросов) и пишут письма желтыми изжеванными огрызками карандашей.

Они стучат друг на друга. Иногда кто-то сболтнет о себе что-нибудь ненароком, а сосед его по столику зевнет, встанет, шаст к большому вахтенному журналу возле сестринского поста и пишет, что услышал, что представляет терапевтический интерес для всего отделения, – для этого, дескать, и заведен вахтенный журнал, говорит старшая сестра, но я-то знаю, что она просто собирает улики, чтобы кого-то из нас послать на правож в главный корпус, и там ему капитально переберут мозги, чтобы не барахлили.

А кто записал сведения в вахтенный журнал, тому против фамилии в списке ставят птичку и завтра позволяют спать допоздна.

Напротив острых с другой стороны – отходы комбинатского производства, хроники. Этых держат в больнице не для починки, а просто чтобы не гуляли по улице, не позорили марку. Хроники здесь навсегда, признаются врачи. Хроники делятся на самоходов вроде меня – эти еще передвигаются, если их кормить, – на катальщиков и овощей. Мы, хроники, то есть большинство из нас, это машины с внутренними неисправностями, которые нельзя починить, – врожденными неисправностями или набитыми, оттого что человек много лет налетал лицом на твердые вещи и к тому времени, когда больница подобрала его, он уже догнивал на пустыре.

А есть среди нас, хроников, и такие, с которыми медицина оплошала сколько-то лет назад, – пришли они острыми, но тут преобразовались. Хроник Эллис пришел острым, и его крепко попортили – поддали лишку в мозгобойной комнате, которую негры зовут Шоковый шалман. Теперь он прибит к стене в том же состоянии, в каком его стащили в последний раз со стола, и в той же позе: руки распялены, ладони согнуты, и тот же ужас на лице. Он прибит к стене, как охотничий трофей. Гвозди выдергивают, когда надо есть, когда хотят прогнать его в постель, когда мне надо подтереть под ним лужу. На прежнем месте он простоял так долго, что моча проела пол и перекрытия, и он то и дело проваливался в нижнюю палату, и там сбивались со счета на каждой проверке.

Ракли тоже хроник, поступил несколько лет назад как острый, но с ним перестарались по-другому: неправильно перемонтировали что-то в голове. От него тут спасу не было: санитаров пинал, практиканток кусал за ноги – и его отправили на ремонт. Его пристегнули к столу, и, после того как закрылась дверь, мы его довольно долго не видели, а перед тем, как дверь закрылась, он подмигнул и сказал уходящим санитарам: «Вы поплатитесь за это, воронье».

Привезли его в отделение через две недели обритого, вместо лба жирный лиловый синяк, и над глазами вшито по пробочке размером с пуговку. По глазам было видно, как его выжгли внутри: глаза задымленные, серые и опустелые, как перегоревшие предохранители. Теперь он целый день только тем и занят, что держит перед своим выжженным лицом старую фотокарточку, вертит, вертит ее в холодных пальцах, а карточка давно замусолилась, с обеих сторон стала серой, как его глаза, не поймешь, что на ней и было.

Персонал считает Ракли своей неудачей, а я, например, не знаю, может, он и хуже был бы, если бы у них все удалось. Теперь они чинят почти без ошибок. Техники стали опытнее и ловчее. Никаких больше петличек во лбу, никаких разрезов – проникают через глазницы. Забирают другой раз такого перемонтировать: из отделения уходит злой, бешеный, на весь мир огрызается, а через несколько недель прибывает обратно с синяками вокруг глаз, как после драки, и милее, смирнее, послушнее человека ты не видывал. Случается, месяца через два его отпускают домой – в низко надвинутой шляпе, а под ней – лицо лунатика, как будто ходит и смотрит простой счастливый сон. Прошла успешно, говорят они, а я скажу – еще один робот для Комбината, и лучше бы он был неудачей, как Ракли, сидел бы, мусолил свою фотокарточку и пускал слюни. Санитару-карлику иногда удается раздражить его: он наклоняется поближе и спрашивает: «Слушай, Ракли, как думаешь, чем сейчас твоя жена в городе занимается?» Ракли поднимает голову. Память шуршит о чем-то в попорченном механизме. Он краснеет, и сосуды закупориваются с одного конца. От этого его распирает так, что он едва может протиснуть свистящий звук сквозь горло. В углах рта вздуваются пузыри, он сильно двигает подбородком, пытается что-то сказать. Когда ему удастся выдавить несколько слов, это – тихий хрип, и от него мороз идет по коже: «Н-н-на... жену! Н-н-на... жену!» От натуги он тут же теряет сознание.

Эллис и Ракли – самые молодые хроники. Полковник Маттерсон – самый старший; это старый окостенелый кавалерист с первой войны, а занимается тем, что задирает тростью юбки проходящим сестрам и обучает какой-то истории по

письменам, которые у него на ладони, – любого, кто согласится слушать. В отделении он старше всех, но не дольше всех – жена сдала его всего несколько лет назад, когда самой стало невмоготу ухаживать.

Дольше всех в отделении я – со Второй мировой войны. Дольше меня – никого. Из больных никого. Старшая сестра тут дольше.

Острые с хрониками почти не общаются. Одни у одной стены дневной комнаты, другие – у другой, так велят санитары. Санитары говорят, что так больше порядка, и всем дают понять, что они так хотят. Они вводят нас после завтрака, смотрят, как мы распределимся, и кивают: «Вот правильно, джентльмены, так и надо. Так и оставайтесь».

Вообще-то они могли бы и не приказывать: хроники, кроме меня, двигаются мало, а острые говорят, что им и у своей стены неплохо, у хроников, мол, пахнет хуже, чем от грязной пеленки. Но я-то знаю, не из-за вони держатся подальше от хроников, а просто не хотят вспоминать, что такое же может случиться и с ними. Старшая сестра угадывает этот страх и умеет сыграть на нем: если острый начинает дуться, она говорит: ребятки, будьте хорошими ребятками, сотрудничайте, поддерживайте курс учреждения, он выработан, чтобы вас излечить, или кончите на той стороне.

(Все в отделении гордятся тем, как сотрудничают больные. У нас есть медная табличка, прибитая к кленовой дощечке: «Поздравляем отделение, обходящееся наименьшим количеством персонала». Это приз за сотрудничество. Он висит на стене над вахтенным журналом точно посередине между хрониками и острыми.)

Рыжий новичок Макмерфи живо смекнул, что он не хроник. За минуту осмотрелся в дневной комнате, увидел, что его место среди острых, и сразу шагает туда, ухмыляясь и всем по пути пожимая руки. Чувствую, что всем им там не по себе – из-за шуток его и подначек, из-за того, как он покрикивает на негра, который еще гоняется за ним с термометром, а главное, из-за этого зычного, нахального смеха. Стрелки на контрольном пульте и те от него подергиваются. Острые струхнули, как ребята в классе, когда учительница вышла, а самый шептунья мальчишка начинает ходить на голове и они ждут, что сейчас она вбежит и оставит всех после уроков. Они ерзают и дергаются вместе со стрелками на контрольном пульте; я вижу, что Макмерфи заметил их смущение, но это его не останавливает.

– До чего унылая команда, черт возьми. Ребята, кажись, вы не такие уж сумасшедшие. – Он старается расшевелить их вроде того, как аукционщик сыплет шутками, чтобы расшевелить публику перед началом торгов. – Кто тут называет себя самым сумасшедшим? Кто у вас главный псих? Кто картами заведует? Я здесь первый день, поэтому хочу сразу представиться нужному человеку – если докажет мне, что он нужный человек. Так кто здесь пахан-дурак?

Говорит он это Билли Биббиту. Он наклонился и смотрит на него так пристально, что Билли вынужден ответить и отвечает с запинкой, что он еще не па-пахан-д-дурак, а п-пока только за-за-заместитель.

Макмерфи сует ему большую руку, и Билли ничего не остается, как пожать ее.

– Ладно, друг, – говорит Макмерфи, – я, конечно, рад, что ты за-за-заместитель, но, поскольку эту лавочку со всеми потрохами я намерен прибрать к рукам, мне желательно потолковать с главным. – Он оглядывается на острых, которые прервали карточные игры, накрывает одну руку другой и щелкает всеми суставами. – Видишь ли, друг, я задумал сделаться здесь игорным королем и наладить злую игру в очко. Так что отведи-ка меня к вашему атаману, и мы с ним решим, кому из нас быть под кем.

Всем невдомек, дурака валяет этот широкогрудый человек со шрамом на лице и шалой улыбкой, или он в самом деле такой ненормальный, или и то и другое, но они с большим удовольствием включаются в эту игру. Они видят, как он кладет свою красную лапу на тонкую руку Билли Биббита, и ждут, что скажет Билли. Билли понимает, что отвечать должен он, поэтому оборачивается и выбирает одного из тех, кто играет в «тысячу».

– Хардинг, – говорит Билли, – п-по-моему, это к тебе. Ты п-председатель совета па-пациентов. Этот человек хочет с тобой г-говорить.

Острые заулыбались, они уже не смущаются, а рады, что происходит что-то необыкновенное. Дразнят Хардинга, спрашивают, он ли пахан-дурак. Он кладет карты.

Хардинг весь плоский, нервный, и кажется, что его лицо ты видел в кино – чересчур оно красивое для обыкновенного мужчины. У него широкие худые

плечи, и он заворачивает в них грудь, когда хочет спрятаться в себя. Ладони и пальцы у него длинные, белые, нежные – мне кажутся вырезанными из мыла; иногда они выходят из повиновения, парят перед ним сами по себе, как две белые птицы, и он, спохватившись, запирает их между коленями: стесняется своих красивых рук.

Он председатель совета пациентов, потому что у него есть документ, где сказано, что он окончил университет. Документ в рамке стоит на его тумбочке рядом с фотографией женщины в купальнике, про которую тоже подумаешь, что видел ее в кино – у нее очень большая грудь, и она пальцами придерживает на ней лифчик купальника, а сама смотрит вбок на фотоаппарат. Позади нее на полотенце сидит Хардинг и выглядит в плавках довольно тощим, будто ждет, что какой-нибудь здоровый парень набросает на него ногой песок. Хардинг всегда хвастается тем, что у него такая жена, самая, говорит, сексуальная женщина в мире и не нарадуется ему по ночам.

Когда Билли указал на него, Хардинг развалился на стуле, принял важный вид и говорит потолку, а не Биббиту и Макмерфи:

– Этот... джентльмен записан на прием?

– М-мистер М-Макмерфи, вы записаны на прием? Мистер Хардинг занятой человек и без за-записи никого не принимает.

– Этот занятой человек Хардинг – он и есть ваш главный псих? – Смотрит на Билли одним глазом, и Билли часто-часто кивает. Доволен, что все обратили на него внимание. – Тогда скажи главному психу Хардингу, что его желает повидать Р. П. Макмерфи и что больница тесна для них двоих. Я привык быть главным. Я был главным тракторным наездником на всех лесных делянках северо-запада, я был главным картежником аж с корейской войны, и даже главным полотьщиком гороха на этой гороховой ферме в Пендлтоне – так что если быть мне теперь психом, то буду, черт возьми, самым отъявленным и заядлым. Скажи вашему Хардингу, что либо он встретится со мной один на один, либо он трусливый койот и чтобы к заходу солнца духу его не было в городе.

Хардинг развалился еще сильнее и подцепил большими пальцами лацканы.

– Биббит, сообщи этому молодому из ранних Макмерфи, что я встречу с ним в полдень в главном коридоре, и пусть два дымящихся либидо скажут последнее слово в нашем споре. – Хардинг тоже растягивал слова на ковбойский манер, как Макмерфи; но голос тонкий, задыхающийся, и получается смешно. – Можешь честно предупредить его, что я главный псих отделения уже два года и ненормальнее меня нет человека на свете.

– Мистер Биббит, можешь предупредить вашего мистера Хардинга, что я такой ненормальный, что голосовал за Эйзенхауэра.

– Биббит! Скажи мистеру Макмерфи, что я такой ненормальный, что голосовал за Эйзенхауэра дважды.

– А ты передай в ответ мистеру Хардингу, – он кладет обе руки на стол, наклоняется и говорит тихим голосом, – я такой ненормальный, что собираюсь голосовать за Эйзенхауэра и в нынешнем ноябре!

– Снимаю шляпу, – говорит Хардинг, наклоняет голову и жмет Макмерфи руку.

Мне ясно, что Макмерфи выиграл, хотя не совсем понимаю, что именно.

Все острые побросали свои занятия и подошли потихоньку – разобраться, что за птица этот новенький. Ничего похожего в нашем отделении не видели. Расспрашивают его, откуда он и чем занимается, я ни разу не видел, чтобы когонибудь так расспрашивали. Он отвечает, что у него призвание. Говорит, что был обыкновенным бродягой, кочевал по лесоразработкам, пока не попал в армию, и армия определила, к чему у него природная склонность: одних она выучивает на сачков, других – на зубоскалов, а его выучила покеру. После этого он остепенился и посвятил себя карточным играм всех рангов.

– Играть в карты, быть холостым, жить где хочешь и как хочешь, если люди не помешают, – говорит он, – но вы же знаете, как общество преследует человека с призванием. С тех пор как я нашел свое призвание, я обжил столько тюрем в малых городах, что могу написать брошюру. Говорят – закоренелый скандалист. Дерусь, значит. Хреновина это. Когда я был глупым дровосеком и попадал в драку, они не очень-то возражали – это, мол, извинительно, рабочий, мол, человек, он так разряжается. А если ты игрок, и прознали, что ты разок-другой втихаря перекинулся в картишки, ну тут уж и сплевывай только наискось, иначе



ты как есть уголовник. Одно время там прямо разорились, катая меня с дачи на дачу.

Он трясет головой, надувает щеки.

– Но это только поначалу. После я освоился. Честно говоря, до этого срока в Пендлтоне – припаяли за оскорбление действием – я не залетал почти целый год. Почему и сгорел. Потерял навык: малый сумел встать с пола и кликнуть полицию раньше, чем я свалил из города. Упорный попался...

Он опять хохочет и пожимает руки, а всякий раз, когда негр подступает к нему с термометром, садится к кому-нибудь за стол меряться силой – и скоро он уже знаком со всеми острыми. Пожал руку последнему и тут же перешел к хроникам, как будто между нами и разницы нет. Не поймешь, то ли он вправду такой дружелюбный, то ли из-за игорного интереса знакомится с людьми, которые так плохи, что другой раз даже фамилии своей не знают.

Он уже отрывает от стены руку Эллиса и трясет так, словно он политик и хочет, чтобы его куда-то выбрали, и голос Эллиса не хуже прочих.

– Друг, – внушительно говорит он Эллису, – меня зовут Р. П. Макмерфи, и мне не нравится, когда взрослый человек делает лужу и полощется в ней. Не пора ли тебе просохнуть?

Эллис смотрит на лужу у ног с большим удивлением.

– Ой, спасибо, – говорит он и даже делает несколько шагов к уборной, но гвозди отдергивают его руки назад к стене.

Макмерфи движется вдоль цепочки хроников, пожимает руки полковнику Маттерсону, Ракли, старику Питу. Он пожимает руки катальщикам, самоходам, овощам, пожимает руки, которые приходится поднимать с колен, как мертвых птиц, заводных птиц – из косточек и проволочек, чудесные игрушки, сработавшиеся и упавшие. Пожимает руки всем подряд, кроме большого Джорджа, водяного психа: Джордж улыбнулся и отстранился от негигиеничной руки, а Макмерфи отдает ему честь и, отходя, говорит своей правой:

– Рука, как он догадался, что на тебе столько грехов?

Всем понятно, куда он гнет и к чему эта канитель с всеобщими рукопожатиями, но это все равно интересней, чем разбирать головоломки. Он твердит, что это необходимое дело, обязанность игрока – пройти и познакомиться с будущими партнерами.

Но не сядет же он с восьмидесятилетним органиком, который только одно умеет с картами – взять их в рот и пососать? И все-таки похоже, что он получает от этого удовольствие и что он такой человек, который умеет рассмешить людей.

Последний – я. Все еще приклеен к стулу в углу. Дойдя до меня, Макмерфи останавливается, опять зацепляет большими пальцами карманы и, закинув голову, хохочет, словно я показался ему смешнее всех остальных. Сажу, подтянув колени к груди, обхватив их руками, уставился в одну точку, как глухой, а самому страшно от его смеха: вдруг догадался, что я симулирую?

– У-ху-ху, – говорит он, – что мы видим?

Эту часть помню ясно. Помню, как он закрыл один глаз, откинул голову, поглядел на меня поверх малинового, только-только затянувшегося рубца на носу и захохотал. Я сперва подумал, ему смешно оттого, что у такого, как я, и вдруг индейское лицо, черные, масляные индейские волосы. Или – что я такой слабый. Но тут же, помню, подумал, что он из-за другого смеется: сразу смекнул, что я играю глухонемого, и пусть даже ловко играю, он раскусил меня и смеется, подмигивает, понятно, мол.

– А ты что скажешь, вождь? Ты прямо как Сидящий Бык[1 - Сидящий Бык (1834—1890) – вождь индейцев племени сиу. С начала 60-х годов до 1877 года воевал с белыми. Убит полицией. – Здесь и далее примечания переводчика.] на сидячей забастовке. – Оглянулся на острых – засмеются ли шутке; но они только хихикнули, и он снова повернулся ко мне, подмигнул: – Как звать тебя, вождь?

Через всю комнату ответил Билли Биббит:

– Ф-фамилия Бромден. Вождь Бромден. Но все зо-зовут его вождь Швабра, потому что санитары заставляют его м-много подметать. П-пожалуй, он мало на что еще годится. Глухой. – Билли опустил подбородок на руки. – Если бы я

оглох, – он вздохнул, – я б-бы покончил с собой.

Макмерфи все смотрел на меня.

– Вырастет – довольно высокий будет, а? Интересно, сколько в нем сейчас?

– Кажется, ему намеряли два метра один сантиметр; большой, а собственной тени боится. П-просто большой глухой индеец.

– Я увидел, как он тут сидит, тоже подумал, похож на индейца. Но Бромден не индейское имя. Из какого он племени?

– Не знаю, – сказал Билли. – Когда меня положили, он уже был здесь.

– У меня сведения от врача, – сказал Хардинг, – что он только наполовину индеец, колумбийский, кажется, индеец. Это вымершее племя из ущелья Колумбии. Врач сказал, что его отец был вождем племени, откуда и прозвище «вождь». А что касается фамилии Бромден, мои познания в индейской этнографии так далеко не идут.

Макмерфи наклонил голову прямо ко мне, так что пришлось смотреть на него.

– Это верно? Ты глухой, вождь?

– Он г-глухонемой.

Макмерфи собрал губы трубочкой и долго смотрел мне в лицо. Потом выпрямился и протянул руку.

– Какого лешего, руку-то пожать он может? Хоть глухой, хоть какой. Ей-богу, вождь, пускай ты длинный, но руку мне пожмешь, или буду считать за оскорбление. А оскорблять нового главного психа больницы – не стоит.

Сказав это, он оглянулся на Хардинга и Билли и скорчил рожу, но рука была по-прежнему протянута ко мне, большая, как тарелка.

Очень хорошо помню эту руку: под ногтями сажа – с тех пор как он работал в гараже; пониже костяшек – наколка, якорь; на среднем пальце пластырь, отставший по краям. Суставы остальных покрыты шрамами и порезами, старыми, новыми. Помню, что ладонь была ровная и твердая, как дерево, от долгого трения о ручки топоров и мотыг – не подумаешь, что ладонь игрока. Ладонь была в мозолях, мозоли потрескались, в трещины въелась грязь. Дорожная карта его странствий по западу. Его рука с шершавым звуком прикоснулась к моей. Помню, как сжали мою руку его толстые сильные пальцы, и с ней произошло что-то странное, она стала разбухать, будто он вливал в нее свою кровь. В ней заиграла кровь и сила. Помню, она разрослась почти как его рука...

– Мистер Макморри.

Это старшая сестра.

– Мистер Макморри, вы не могли бы подойти?

Это старшая сестра. Черный с термометром сходил за ней. Она стоит, постукивая этим термометром по своим часам, глаза жужжат, обмеривая нового пациента. Губы сердечком, как у куклы, готовы принять пластмассовый сосок.

– Мистер Макморри, санитар Уильямс говорит, что вы не выразили желания принять душ после прихода. Это правда? Поймите, пожалуйста, мне приятно, конечно, что вы взяли на себя труд познакомиться с остальными пациентами отделения, но всему свое время, мистер Макморри. Мне жаль разлучать вас с мистером Бромденом, но поймите: каждый должен... выполнять правила.

Он закидывает голову, подмигивает, показывая, что она его не обманет, так же как я не обманул. И с минуту смотрит на нее одним глазом.

– Знаете, – говорит он, – так вот мне всегда кто-нибудь объясняет насчет правил...

Он улыбается ей, она – ему обратно, примериваются друг к другу.

– ...когда понимает, что я поступлю как раз наоборот.

И отпускает мою руку.

На стеклянном посту старшая сестра открыла пакет с иностранной надписью и набирает в шприц травянисто-молочную жидкость из пузырька. Одна из младших сестер, барышня с блуждающим глазом, который опасливо заглядывает через плечо, пока другой занят обычным делом, взяла подносик с полными шприцами, но не уходит.

– Мисс Гнусен, какое у вас впечатление от нового пациента? Он симпатичный, общительный и все такое, но, извините, мне кажется, что он хочет здесь верховодить.

Старшая сестра проверяет острие иглы на пальце.

– Боюсь, – она протыкает резиновую пробку пузырька и вытягивает поршень, – что намерение у нового пациента именно такое: верховодить. Он из тех, кого мы называем манипуляторами, мисс Флинн, эти люди используют все и вся для своих целей.

– Да? Но... В психиатрической больнице? Какие же могут быть цели?

– Самые разные. – Она спокойна, улыбается, сосредоточенно наполняет шприц. – Комфорт, удобная жизнь, например; возможно, власть, уважение; денежные приобретения... Возможно, все вместе. Иногда цель манипулятора – развал отделения ради развала. Есть такие люди в нашем обществе. Манипулятор может влиять на других пациентов и разложить их до такой степени, что месяцы уйдут на восстановление налаженного когда-то порядка. При нынешнем либеральном подходе в психиатрических больницах это сходит им с рук. Несколько лет назад было иначе. Помню, несколько лет назад у нас в отделении был больной – некий мистер Тейбер, это был невыносимый манипулятор. Недолгое время. – Она отрывается от работы и держит полузаполненный шприц перед лицом, как маленький жезл. Глаза рассеянные – в них приятное воспоминание. – Мистер Тейбер, – повторяет она.

– Нет, правда, мисс Гнусен, – говорит младшая, – чего ради разваливать отделение? Какие мотивы...

Старшая сестра обрывает ее, снова вонзив иглу в пробку; наполняет шприц, выдергивает, кладет на поднос. Я вижу, как ее рука тянется к следующему пустому шприцу: выпад, роняет кисть, опускается.

- Вы, кажется, забываете, мисс Флинн, что наши пациенты – сумасшедшие.

Если что-то мешает ее хозяйству действовать, как точной, смазанной, отлаженной машине, старшая сестра выходит из себя. Малейший сбой, беспорядок, помеха, и она превращается в белый тугий комок ярости, и на комок этот натянута улыбка. Она ходит по отделению, лицо ее между носом и подбородком надрезано все той же кукольной улыбкой, то же спокойное жужжание идет из глаз, но внутри она напряжена, как сталь. Я знаю это, потому что чувствую. И не расслабится ни на грамм, пока нарушителя не обротают, – как она говорит, не приведут в соответствие.

Под ее руководством внутренний мир – отделение – почти всегда находится в полном соответствии. Но беда в том, что она не может быть в отделении постоянно. Часть ее жизни проходит во внешнем мире. Так что она не прочь и внешний мир привести в соответствие. Трудится она вместе с другими такими же, я их называю Комбинатом – это громадная организация, которая стремится привести в соответствие внешний мир так же, как приведен внутренний. Старшая сестра – настоящий ветеран этого дела, занимается им бог знает сколько лет: давным-давно, когда я поступил к ним из внешнего мира, она уже была старшей сестрой на прежнем месте.

Я замечаю, что с каждым годом умения у нее прибавляется и прибавляется. Опыт закалил и укрепил ее, и теперь она прочно держит власть, распространяющуюся во все стороны по волосковым проводам, невидимым для посторонних глаз, только не моих: я вижу, как она сидит посередине этой паутины проводов, словно сторожкий робот, нянчит свою сеть со сноровкой механического насекомого, зная, куда тянется каждый проводок, в какую секунду и какой ток надо послать по нему, чтобы добиться нужного результата. В армейском учебном лагере, до того как меня наладили в Германию, я был помощником электрика, да и за год колледжа кое-что узнал об электронике – мне известно, как образуются такие штуки.

А мечтает она, сидя в середине этой сети, о мире, действующем исправно и четко, как карманные часы со стеклянным донцем, о месте, где расписание нерушимо и пациенты, которые находятся не во внешнем мире, смиренны под ее лучом, потому что все они хроники-катальщики с катетерами в штанинах, подсоединенными к общему стоку под полом. Годами она подбирала свой идеальный персонал: врачи всех возрастов и мастей появлялись перед ней со своими идеями о том, как нужно вести отделение, у иных даже характера не хватало, чтобы постоять за свои идеи, и каждый из них, изо дня в день обжигаясь о сухой лед ее глаз, отступал в необъяснимом ознобе. «Говорю вам, я не понимаю, в чем дело, – жаловались они кадровику. – С тех пор, как я работаю в отделении с этой женщиной, мне кажется, что в жилах у меня течет аммиак. Меня бьет дрожь, мои дети не хотят сидеть у меня на коленях, жена не хочет со мной спать. Настаиваю на переводе – нервный уголок, алкодром, педиатрия, мне все равно!»

И так шло у нее год за годом. Врачи держались кто три недели, кто три месяца. Наконец она остановилась на этом маленьком человеке, у которого широкий лоб и широкие мясистые щеки, а на уровне глазок голова сужена так, словно он носил слишком узкие очки, носил так долго, что примял виски, и теперь он привязывает свои окуляры шнурком к пуговице на воротничке; они качаются коромыслом на малиновом седельце его маленького носа, кренятся то влево, то вправо, и, чтобы сидели ровно, он должен наклонять голову, когда говорит. Вот этот доктор – по ней.

Трех своих дневных санитаров она подбирала еще дольше и перепробовала тысячи. Они проходили вереницей черных, угрюмых, толстоносых масок, и каждый начинал ненавидеть ее, кукольную ее белизну с первого взгляда. С месяц она проверяла их ненависть, потом спроваживала, потому что мало ненавидели. Наконец, она собрала эту тройку – не враз, а по одному, за несколько лет, вплела в свою схему, в свою сеть и теперь вполне уверена, что они годны – ненависти хватит.

Первого она добыла лет через пять после того, как я поступил в отделение, – это жилистый покоробленный карлик цвета холодного асфальта. Его мать изнасиловали в Джорджии, а отец в это время стоял рядом, привязанный плужными постромками к горячей чугунной печке, и кровь текла у него по ногам в ботинки. Мальчик же, пяти лет от роду, наблюдал из чулана одним глазом в дверную щелку и с тех пор не вырос ни на миллиметр. Теперь его тонкие дряблые щеки свисают из-под лба так, словно на переносице уселась летучая мышь. Веки из тонкой серой замши, и он чуть-чуть поднимает их при появлении

каждого нового белого – глянет из-под них, осмотрит человека с ног до головы и кивнет, вроде: ага, так оно и есть, как я думал. Он вышел на работу с носком, набитым мелкой дробью – пациентов приводить в чувство, но она ему сказала, что теперь так не принято, велела оставить глушилку дома и обучила своему методу: не показывай ненависти, будь спокойным и жди, жди маленькой форы, маленькой слабину, а уж тогда накидывай веревку и тяни, не отпускай. Все время. Вот как их приводят в чувство, учила она.

Остальные появились двумя годами позже с промежутком в месяц, и до того похожие, что я подумал, она заказала копию с того, который пришел раньше. Оба высокие, узкие, костлявые, и на лицах их высечено выражение, которое никогда не меняется, – как кремневые наконечники стрел. Глаза – шила. Коснешься волос, и они сдирают с тебя кожу.

Все трое черные, как телефоны. Это она по прошлым санитарам поняла: чем они чернее, тем охотней занимаются мытьем, и уборкой, и наведением порядка в отделении. Форма, например, у всех троих всегда белее снега. Белая, холодная и жесткая, как у нее самой.

Все трое носят белоснежные крахмальные штаны, белые рубашки с кнопками на боку и белые туфли, отполированные, как лед; туфли бесшумного хода, на красном каучуке. Идут по коридору, и – ни звука. Только пациент задумал побыть сам с собой или с другим пошептаться, тут же откуда ни возьмись этот в белом. Пациент забился в уголок, и вдруг – писк, и щека заиндевела, он оборачивается, а там перед стеной парит холодная каменная маска. Он видит только черное лицо. Тела нет. Стены белые, как их форма, вылизаны, как дверца холодильника, только черное лицо и руки парят перед ней, словно призрак.

Их натаскивают годами, и они все лучше настраиваются на волну старшей сестры. Один за другим они отключаются от прямого провода – работают по лучу. Она никогда не отдает приказов громким голосом, не оставляет письменных распоряжений, которые могут попасться на глаза посетителю – чьей-нибудь жене или той же учительнице. Нужды нет. Они держат связь на высоковольтной волне ненависти, и санитары исполняют ее приказание раньше, чем оно придет ей в голову.

Персонал ее подобран, и отделение – в тисках четкости, как часы вахтенного. Все, что люди подумают, сделают, скажут, расчислено на несколько месяцев вперед по заметкам, сделанным старшей сестрой в течение дня. Их отпечатают



и введут в машину – слышу, гудит за стальной дверью в тылу сестринского поста. Машина выбросит карты дневного распорядка с узором из перфораций. В начале каждого дня карту ДР с сегодняшней датой сунули в прорезь стальной двери – и загудели стены: шесть тридцать, вспыхивает в спальне свет, санитары растолкали острых, и они слезают с постелей – натирать полы, вытряхивать пепельницы, зашлифовывать царапины на стене, где вчера закоротился один старик и отбыл в жуткой спирали дыма и запаха жженой резины. Кательщики спускают на пол мертвые ноги-колоды и как сидячие статуи ждут, чтобы кто-нибудь подогадил кресло. Овощи писают в постель, замыкают цепь звонка и электрошока, их сбрасывает на кафель, санитары обдают их из шланга, одевают в новое зеленое.

Шесть сорок пять, зажужжали бритвы, острые выстроились по алфавиту перед зеркалами: А, Б, В, Г, Д... Кончились острые, подходят самоходы-хроники вроде меня, потом катят кательщики. Остались три старика с желтой плесенью на дряблых подбородках – этих бреют в дневной комнате прямо в шезлонгах, пристегнув лбы ремнями, чтобы головы не мотались под бритвой.

Иногда по утрам, особенно в понедельник, прячусь, увиливаю от расписания. В другие дни думаю, что хитрее будет встать на свое место в алфавите между «А» и «В» и идти маршрутом, как все, не поднимая ног, – мощные магниты в полу таскают людей по отделению, как кукол за ширмой.

Семь, открывается столовая, тут очередь задом наперед: кательщики, потом самоходы, потом острые берут подносы, кукурузные хлопья, бекон, яйца, поджаренный хлеб – а нынче утром персикконсерв на драной зеленой салатине. Некоторые острые подают подносы кательщикам. Кательщики по большей части просто обезножевшие хроники, едят сами, но у тех троих ниже щек ничего не действует да и выше – мало что. Называются овощами. Санитары ввозят их, когда все уселись, подкатывают к стене и берут одинаковые подносы со слякотной снедью и белым диетлистом. На листке у этой беззубой тройки значится «мягкая механическая»: яйца, ветчина, хлеб, бекон, все пережевано по двадцать два раза нержавеющей машиной на кухне. Видел, как она вытягивает суставчатые губы вроде пылесосного шланга и с коровьим звуком плюхает комок жеваной ветчины на тарелку.

Санитары кочегарят слишком быстро, розовые жевалки овощей не успевают глотать, и мягкая механическая выдавливается на их подбородочки, капает на зеленое. Санитары ругают овощей, растягивают им рты пошире, вертанув

ложкой, словно глазок на картофелине вырезают: «Этот старый бздун Бластик разваливается у меня на глазах. Не пойму, то ли он у меня ветчинный кисель глотает, то ли свой язык по кускам».

Семь тридцать, обратно в дневную комнату. Старшая сестра глядит сквозь свое спецстекло – до того отмыто, что не знаешь, есть оно или нет его, – поглядела, кивнула про себя, отрывает листок календаря, еще одним днем ближе к цели. Нажимает кнопку запуска всего. Слышу, буррум, тряхнули где-то железный лист. Все по местам. Острые: сесть вдоль своей стены, ждать, когда принесут карты и «монополию». Хроники: сесть вдоль своей стены, ждать складных головоломок из коробки красный крест. Эллис: на место у стены, руки поднять, ждать гвоздей, писать по ноге. Пит: качай головой, как болванчик. Сканлон: шевели на столе корявыми руками, собирай воображаемую бомбу, чтобы взорвать воображаемый мир. Хардинг: начинай говорить, маши голубиными руками, запирай их в подмышках – взрослым не положено так махать красивыми руками. Сефелт: нить, что зубы болят и волосы выпадают. Все разом: вдох... выдох... По порядку; частота сердцебиения задана в карте ДР. Слышно, шарики на местах, все катаются в обойме.

Как в мире комикса, где фигурки, плоские, очерченные черным, скачут сквозь дурацкую историю... Она была бы смешной, да фигурки – живые люди.

Семь сорок пять, санитары идут вдоль цепи хроников, ставят катетеры тем, кто сидит спокойно. Катетеры – презервативы б/у с отстриженными макушками; резиновыми кольцами их крепят к резиновой трубке, которая идет под штаниной к пластиковому мешку с надписью: ПОВТОРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ; моя работа – споласкивать их в конце дня. Презервативы крепят пластырем к волосам, на ночь сдирают, и старые катетерные хроники – безволосые, как младенцы.

Восемь часов, стены жужжат, гудят вовсю. Репродуктор в потолке говорит: «Лекарства» – голосом, одолженным у старшей сестры. Смотрим на ее стеклянный ящик, но она далеко от микрофона, за три метра от микрофона, учит одну из младших аккуратно и по порядку раскладывать лекарства на подносе. Перед стеклянной дверью выстраиваются острые: А, Б, В, Г, Д, за ними самоходы, за ними катальщики (овощам дадут позже в ложке яблочного пюре). Подходят по одному, получают облатку в бумажном стаканчике, закидывают ее в горло, младшая сестра наливает в стаканчик воду, и они запивают облатку.

Иногда какой-нибудь бестолковый спросит, что ему велят глотать.

- Секундочку, детка, что это за красненькие две, кроме витамина?

Знаю его. Это высокий ворчливый острый, его и так уже считают смутьяном.

- Лекарство, мистер Тейбер, оно вам полезно. Давайте примем.

- Нет, я спрашиваю, какое лекарство. Сам вижу, черт возьми, что таблетки...

- Примите их, мистер Тейбер... ну, ради меня, хорошо? - Бросила взгляд на старшую сестру - как воспримут ее тактику улещивания - и опять поворачивается к больному. Он все еще не хочет принимать неизвестное лекарство.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Сидящий Бык (1834—1890) - вождь индейцев племени сиу. С начала 60-х годов до 1877 года воевал с белыми. Убит полицией. - Здесь и далее примечания переводчика.

----

Купить: <https://tellnovel.com/ru/ken-kizi/nad-kukushkinym-gnezdrom-kupit>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)